У НЕЕ БЫЛ С СОБОЙ БРИЛЛИАНТ

Весь полет, то есть восемь часов над Атлантикой, Гескина была в норме: она даже дивилась, что обещанные отеки не мучают ее, кушала орешки и общалась с соседкой, американкой ее лет. То есть нравоучительно говорила: ах, если бы вы знали, как плохо раньше кормил «Аэрофлот». Американка помалкивала. Ближе к земле угрюмая настороженность передалась и Гескиной. Они долго пробивали сплошную серую облачность, оставалось лишь гнать от себя мысли о диспетчерах, которые как-то же разруливают сто самолетов в квадратном, нет, кубическом километре этого молока, а в нем ведь, условно, руку протяни. А о русских диспетчерах же писали, и обо всем этом — как пьяный снегоуборщик на полосе недавно погубил большого друга Славика, то есть никакие деньги не спасли. Американка ободряюще улыбнулась. Она ни черта не понимает. Они не понимают. Когда все-таки выплыли и моторы сразу сбавили тон, выяснилось, что внизу все так же серо. «Я не была в России двадцать лет». Американка удивилась из вежливости.

Багаж задерживали, и это хорошо, потому что Гескина неспешно красилась в уборной.

«Почему вы позволяете им это, почему вы не потребовали сутки на отдых, ведь сначала всю ночь лететь, потом сразу выступать, вы же уже не девочка», — накручивала ее Инга накануне. Гескина и сама удивлялась своему либерализму, и вообще — согласие участвовать и т. д. — все это было как в тумане, кубометр молока, из которого не вынырнуть. Но она отшучивалась, что она же теперь как Джеймс Бонд. «Скорее как этот... Помнишь, Пьер Ришар ехал по лестнице в аэропорту, и у него ботинок в краску упал». Ухахахихи, вспомним семьдесят второй. Кроме шуток: Гескиной сейчас предстояло примерно то же (и там же) — заморозить лицо значительностью. Не исключено, что прямо на выходе ее ослепят блицами. У Гескиной был даже радикальный план — достать из чемодана утягивающее белье и переодеться прямо здесь, в кабинке; ей помешало многое. В том числе состояние туалетных комнат.

Вспышек не было, были два высоких мальчика с табличкой «Госпожа Гескина», один оказался тем самым Максимом, а второй сразу убежал за машиной, да отяжелевшая госпожа Гескина и не спрашивала — кто.

В тупом молчании они медленно въезжали в город. Парни переговаривались о чем-то о своем (но косвенно связанном с нею), звонили кому-то насчет трансляции. Вообще-то, Гескина, продумав в деталях

свой визит, заготовила нравоучительный рассказ, как обшарпана была Москва, когда они уезжали отсюда, и как пестро-грязно-бомжевато было, когда приезжали в последний раз. Но сыграть на контрастах и не получилось бы: жижа, мокрый снег. И все-таки в центре — все изменилось. Она сворачивала голову, провожая взглядом какие-то невообразимые терема и триумфальные арки из притушенных днем гирлянд и чего-то еще.

— Вам нравится? — вдруг заинтересовался Максим — первый раз за всю поездку.

Гескина ответила неопределенно. Ну а почему бы и нет. Вы бы видели убожество совка.

— Вы бы знали, сколько мэрия на этом распилила! — торжествующе подытожил Максим.

А здесь не шутят, промелькнуло у Гескиной. Ей все же не до конца верилось во всю эту авантюру с убийственной критикой клики.

Отель, отстроенный на месте «Интуриста», не то что потрясал воображение, но когда богато позолоченный швейцар начал чуть не силой отнимать вещи, Гескина хоть немного, но почувствовала себя персоной значительной.

Гескина любила отели, редко в них бывала, тем более в хороших, и от многообразия полотенец-халатов, кричащей чистоты ванной приободрилась. Она написала нескольким друзьям по вотсапу (эти друзья просили давать о себе знать каждые полчаса и сами же смеялись над «после посадки»), а также позвонила Инге по скайпу. «С ума сойти!» — кричала Инга, когда Гескина показывала ей в окно улицу Горького. «Мне рассказали, сколько стоят эти фигуры, это коррупция», — авторитетно комментировала Гескина за кадром. «У вас есть в комнате большое зеркало? Отойдите от него. За ним за вами могут наблюдать службы секретного сервиса. Так сделано в гостиницах в Северной Корее», — авторитетно отвечала Инга. Так они обычно дурачились.

Благодаря тому, что отменился долгий и обещавший быть напряженным обед (молодые люди были обходительны, но говорить с ними явно не о чем — коммуникация поколений!), времени у Гескиной было много, но провела она его как-то бестолково. Сказался перелет. Все три часа она прособиралась в ванну, вяло кружила в молоке, раскладывала вещи, оделась и надушилась, как на премьеру во МХАТ. Эх, все-таки надо было затребовать еще день. Но оставаться надолго ей и не советовали, и, если честно, Гескина сама немного трусила.

К часу икс ее наконец стало поколачивать.

Несмотря на то что она так заранее собралась, она все-таки опоздала ко встрече внизу — Максиму пришлось звонить в номер; спустившись и уже шагнув было в машину, запаниковала — «Я забыла очки!» — и метнулась наверх. Все это, наверное, выглядело так, что она боится или хочет отменить, так что Гескина злилась.

Опять долго ехали по пробкам. Говорило радио, кажется, «Эхо Москвы», и Гескина, послушав, немного успокоилась: тут такое, видимо, в порядке вещей.

И вот офисное здание, маленький зал буквально мест на двадцать, длинноволосый компьютерщик тянет шнуры, и все так буднично. Подошло журналистов семь, собирались медленно, поэтому начали с большим опозданием. Все это время Гескина сидела за столом на фоне партийного баннера и нервно напивалась кофе, хотя и не следовало (да ей и врач не советовал); ее обескуражило, что столько пустых стульев.

— Ну что, друзья, начнем, пожалуй? — Максим взял микрофон, улыбнулся ей, улыбнулся всем, после чего представил Гескину как писательницу, что польстило, и без переходов — «Пожалуйста, Софья Михайловна».

Гескина растерялась. Она-то ждала сразу вопросов. Но, с трудом подобравшись, волнуясь и путаясь, заговорила. Наверное, стоило все же начать с маленькой автопрезентации, или хотя бы пояснить, что здесь к чему, или хотя бы — вот это уж точно! — рассказать о Гескине. Выдающемся физике, которого так бездарно потерял Курчатовский институт и вообще русская наука. Но вместо этого — она бездарно (же) понесла. Типа: было лето 1982 года, ой, нет, 1981-го, потому что было очень жарко! — мы с Леонидом Борисовичем ехали из Крыма, где прекрасно отдохнули в Гурзуфе, прекрасно, а тут наши парни вошли в соседнее купе, а мы выскочили ночью в Харькове, а наши олухи-то спали! — они-то думали, что в совке если человек достал дефицитный билет, то и поедет, — а мы укрылись в городе нашей юности, на проверенных ставках!!! — Гескина веселилась, чуть не покатывалась, прикрывая рукою зубы. Она не сразу заметила, что никто ничего не понял. Пяток бойких мальчиков и девочек сидели с недоуменными, чуть не брезгливыми лицами. Все с телефончиками, планшетами, белыми проводочками. Все в узких джинсиках. Если честно, Гескина не ожидала встретить в Москве такую публику, почище манхэттенской, и теперь досадовала непонятно на что — возможно, на их молодость.

А смогли бы они? Бороться? Не так, с айфончиками, когда все можно, а по-настоящему?..

Переведя дух и сосредоточившись (ей дали бутылочку воды), Гескина начала уже предметнее — с конца, то есть с последней встречи с Николаевым, или Славиком. Славик и Толик — так они их звали меж собой. Но перед тем все равно завязла в лирическом отступлении — как им разрешили выезд: они так долго добивались, Гескин даже голодал немного, а по-

лучилось все равно неожиданно, вплоть до того, что ОВИР им сам не сообщил, а в два часа ночи раздался звонок в дверь, они переполошились, думали — все, обыск, а оказалось, это Римма с кафедры, которая первая откуда-то узнала и...

— Софья Михайловна, мы ограничены по времени аренды зала, — мягко напомнил Максим.

Последняя их встреча была в Шереметьево. Да. И почему-то тоже неожиданно. Они-то думали, что теперь, с отъездом, их оставили в покое, а досье КГБ отправит в свой безразмерный архив, впрочем, закрытых досье, как и бывших чекистов, не бывает, ведь так?.. Шереметьево было тогда совсем не такое, как теперь (нравоучительно рассказала она мальчикам). Толкотня, духота, люди улететь не могут, достают какие-то билеты. Как только окончательно распростились, расцеловались, расцепились с толпой провожающих — эта компания все ездила и ездила привычным маршрутом на аэродром, редея, из нее выбивало «по ту сторону» Шереметьева людей, как электроны, — кстати, это была метафора Леонида Борисовича как раз, — они простились и побрели, уже вдвоем. И тут их под локотки подхватили как раз Славик с Толиком! Боялись, что они не улетят, что ли?.. Так и вели, крепко держа, до самой таможни. Ее вел как раз Славик, и она очень хорошо запомнила — этот последний раз — и эту близость, запах, извините, пота... Мальчики и девочки с усмешкой переглядывались, и взволнованная Гескина чувствовала, как сама мокнет в крепдешинах.

Он ей как-то нахамил. То ли тогда, то ли раньше. Кстати, тогда их сильно унижала таможня, издевательски тщательно перетряхивали все вещи. Ей разрешили вернуть набор столового серебра провожающим (наученные, те не разъезжались), и за зону таможни и обратно ее опять сопровождал как раз таки Славик.

Она бы много что еще припомнила, но Максим оборвал: «Вопросы к нашей гостье?»

Мальчики и девочки долго переглядывались, как двоечники, потом, наконец, спросил развязный худощавый парень — он сидел, забросив ногу на ногу, и у его колена в напряженной джинсе был радиус выноса метр, как писали на автобусах-«гармошках».

— Скажите, пожалуйста, когда вы его узнали? Когда вы поняли, что вице-премьер Николаев — это и есть этот Славик?

— Да, в общем-то, сразу, как увидела по телевизору... Когда его назначили...

— То есть лет десять назад. Почему вы заявляете, что он прессовал вас, только сейчас?

Гескина отчего-то смутилась, возникла заминка, которую не-Максим заполнил восклицанием «Хороший вопрос!».

— Ну я не то что заявляю... Нет, ну это и не было секретом. Все, кто меня знает... Я даже написала об этом в своей книге! «Сопротивление полезно»... Такая, знаете, игра слов с «Сопротивление бесполезно»... Она вышла небольшим тиражом... Вообще — в прошлом году умер мой муж. Русская, да и мировая наука понесла огромную потерю... Да. Он был против, чтобы я... Он не хотел, чтобы я связывалась с этими людьми. Они опасны. Да... Леонид Борисович Гескин, доктор физико-математических наук, блестящий...

Как назло, там, где надо было говорить твердо и ярко, Гескина совсем сдалась, запуталась — то ли растратив всю энергию на толиков в купе, то ли сказалась полудрема, бессонная ночь в океанском небе.

Все опять переглядывались, после нехорошей паузы вопрос задал тот же парень.

— А как вы объясните, что, согласно официальной биографии Вячеслава Николаева, в то время — в начале 80-х — он работал с Путиным в резидентуре в ГДР?

— Ну так написать-то можно многое!!! — наконец ярко и с напором заговорила Гескина. — Понятно, что такая контора, как КГБ, могла многое накрутить, сфальсифицировать, кто из сотрудников где был, кто где служил!

Теперь, встряхнувшись, она была довольна собой. Да и Максим — она покосилась — сидел с тонкой победной улыбкой. Их снимали на телефоны и камеры. Весь мир сейчас смотрит на нее. Болеет за нее.

— Пожалуйста. Давайте кто-нибудь еще. Вы, пожалуйста.

Гескиной эта стервозина сразу не понравилась. Девица в роговых очках, но с ярко накрашенными губами.

— Вы описали историю с Николаевым в книге «Сопротивление полезно», как сами сейчас и рассказали. Как вы прокомментируете то, что вашу книгу активно критиковали за передергивание фактов?

— Активно критиковали? — Гескина даже растерялась. — Да вы что, да нет, вы живой журнал Слободской, что ли, читали?.. — Она натужно рассмеялась, упрятав «ненавижу». — Это, как я уже сказала, книга камерная, маленьким тиражом, можно сказать, для своих...

— В эпоху Интернета нет ничего «для своих», — отчеканила девица.

Гескина замерла, как будто ее стегнули, а эта стерва начала с выражением, с видимым удовольствием, зачитывать по айфончику отзыв из «Русской Америки», о том, что все, что написано в книге про диссидентскую среду, — вранье от первой до последней строчки, и «Гескина пытается примазаться к великим», и «в Москве конца 70-х ее благодаря мужу пустили посидеть на краешке кресла в гостиных действительно крупных ученых, литераторов, мысли-

телей, и никто ее там не замечал, уж тем более — не считал писательницей... Гескина копила желчь, чтобы расквитаться со всеми, но, по счастью, ее выплеска никто не заметил».

Гескина так часто проигрывала эти слова в голове, представляя интонации Слободской, что была, например, убеждена, что в этом месте произносится «желчь».

Она даже не ожидала от себя такой бурной реакции — уж сколько лет прошло? — но кровь снова бросилась в лицо, как тогда. Горячая волна унижения, стыда, бессильной злобы. Надо было улыбаться? Весь зал улыбался, эти смешочки. Самое ужасное — она повернулась, как бы ища поддержки, — и Максим, притушив улыбку, смотрел с лукавым любопытством: ну, как выпутываться будешь?

— Это грязь, это грязь, — бормотала Гескина.

Ее не зря предупреждали о провокациях.

— Грязь — рецензия или то, что вы пишете, например, о писателе Василии Аксенове? — холодно осведомилась стервозина. — В рецензии, например, с датами и фактами доказывается, что той вашей встречи сразу после истории с «Метрополем» не могло быть.

— Элина, давайте будем чуть корректнее, — все-таки сказал Максим, но обвинений не отмел и смотрел так же плотоядно-выжидающе — кто кого.

Точнее, понятно, кто кого. Кто она перед этими акулами и акулками, новым поколением Славиков и Толиков, засранцами, для которых нет ничего святого, — да конечно, как гэбне не взять было реванш, если такие... «Чем вы можете доказать, что Николаев преследовал диссидентов». Чем вы. А. У.

— Софья Михайловна, вам нехорошо?

Она покачивала рукой, что все хорошо, но сама ее скорбная поза — закрытые глаза, излом второй руки у лба — должна была сигналить: отступитесь. Отступитесь, если вам еще хоть что-то дорого, если вы не хотите втоптать в грязь последние демократические завоевания поколения тех, кто...

Пресс-конференция закончилась. Новые Толики и Славики уходили, гогоча.

Не-Максим принес откуда-то ей сладкого чаю, но делал все молча, будто брезгливо, будто она провалила какой-то экзамен. Она сидела, закрыв глаза, и лила тихие слезы по Леониду Борисовичу. Организаторы о чем-то говорили, сматывая удочки. Интересно, отключили ли вещание на Брайтон. И что там скажут о ее позоре. Как торжествует Слободская. Телефон провально молчал. Ах да. Она же не включила.

Один, который техник, говорил почему-то о «Титанике» — ей почудилось? — нет, о старушке из фильма! — она четко различила Максимово или не-Максимово «Ну, у нее хотя бы был с собой бриллиант», и смешки; она домыслила связь — ну да, полоумная старуха, которая обещала сенсацию, но все выдумала и отвлекла людей от работы, — а может, это чудилось, потому что один горестный спазм шел за другим, в голове шумело, как будто включили электрический чайник, но нет, оказывается, его все же включили на полу за баннером.

Немного продышалась на улице. К вечеру подморозило, и первое, что увидела Гескина, когда ее вывели на крыльцо, — это лазоревые сумерки, оттененные электричеством внизу и сгущаемые кверху, точь-в-точь как на фантиках конфет «Огни Москвы». Гескина почти обрадовалась, как будто жива мама и это привет от нее.

— Вы не против, если мы не будем сопровождать вас в гостиницу, доедете с водителем? Он знает, — деловито заговорил Максим: тон «как-будто-ничего-не-было». — Вам точно не нужна медицинская помощь? Какие-нибудь лекарства?

— Все в порядке, — буркнула Гескина и захлопнула дверцу, как будто она в «Волге».

Водитель покосился, но ничего не сказал.

Телефон она решилась включить не скоро, не в самом «Интуристе», конечно, но накануне. Попросила водителя высадить чуть ли не на Маяковке. Вспомнить. Продышаться. Пройтись. Ощутить промытое небо и вечер, хотя здесь-то как раз почти ничего не было видно из-за обилия фар, теремов и безумных цветных огней.

Инга позвонила через Интернет на телефон, так что слышно было плохо — речь проваливалась периодами.

Гескина не поняла, увидели ли там все, но, судя по сочувственной интонации, да — увидели. Гескина брела, натыкаясь на спешащих встречных, и механически повторяла: нет, нет. Нет, она не поехала по старым друзьям. Нет, никаких гостей, кладбищ и прежних адресов. Нет, за порог гостиницы никуда. Да, к ней приставили охрану. Нет. Нет. Завтра домой. Да. «Мы вас ждем!» — со значением подчеркивала Инга, и да — это ведь правда. Никто не ждет, кроме чужих людей.

Москва кончилась. Поездка в Москву. Авантюра с Москвой.

Нарушив последний завет Леонида Борисовича, она как будто только теперь отпустила его в конфетное небо.

Дотащилась. Швейцар распахнул дверь.

Парень на ресепшене поздоровался по-английски, но очень странно на нее посмотрел. И проходя по богатым коврам к лифтам, Гескина чувствовала на спине этот взгляд. Бедная, да? Немодно одетая? Или эти проходимцы не заплатили за отель и завтра утром ей выставят счет? Тут все может быть!

Когда карточкой открыла дверь и почти ступила в темный номер (но странно подсвеченный улицей) —

третья версия пришла со страхом, неожиданно свежим, как сквознячок от окна. В комнате что-то неприятно ждало.

В первую секунду Гескина оцепенела от необъяснимого ужаса и лишь хватала воздух ртом, потом — боковым зрением — спасительное — в дальнем конце коридора — горничная! Гескина закричала и замахала руками. Горничная двинулась к ней.

В девяностом ли, в девяносто втором, когда они приезжали в Москву, раз бесцельно шатались здесь же, поблизости, и случайно обнаружили квартиру-музей Мейерхольда. Недавно открывшуюся; кажется, поначалу это затеяли даже какие-то энтузиасты, а не государство; объявление висело чуть ли не на дереве. Но народу в квартире толкалось много: тоже примета времени. Перебив экскурсоводшу возле какого-то дивана, Гескина громко спросила, здесь ли убивали Зинаиду Райх. Почему-то на нее зашикали, хотя чему удивляться. И надо ли пояснять, что все эти чинные, благородные люди старательно обходили в экскурсии вопрос о том, кто жил тут после этого. Генеральские шоферы, генеральские любовницы...

— У меня что-то со светом.

— Давайте попробуем так, — мягко, как сиделка, сказала горничная, забрала из рук Гескиной карточку и вставила в специальный паз.

В номере вспыхнули все торшеры разом. Ярко било из ванной.

— А что это за звук?!

Гескина опасливо шла следом. Горничная тоже долго не могла понять, они обе озирались, пока не подняли взгляды.

— О, это пожарный датчик вышел из строя, видимо, батарейка, извините, пожалуйста. Сейчас к вам поднимутся и заменят.

— Нет-нет-нет!

Гескиной стоило огромного труда убедить удивленную горничную, что после океанского перелета ей спать под тихий писк — самое оно, и ничего не надо, и все завтра, завтра. Вытолкав горничную, она наконец осталась одна и подошла к окну.

Через двенадцать часов она встанет и полетит домой; история кончилась или вот-вот кончится; через океан. Уже через десять. Девять. Гескина поймала себя на том, что уже давно машинально трет влажной салфеткой флакончик гебрускала.

Так же тщательно она протирала стакан, прежде чем кокнуть его о ковер, и другие вещи — стул, торшер — она также валила аккуратно, чтобы ночной шум не привлек внимание раньше времени.

Надо было изобразить следы борьбы, но так, чтобы не переиграть: вряд ли слабая старая тетка роняла шкафы, прежде чем убийцам удалось влить гебрускал ей в глотку.

Льготная аренда квартиры, вероятно, достанется Инге, но это справедливо, потому что это Инге предстоит заявить миру: Софья Гескина никогда не принимала гебрускал.

О, НЕ ЛГИ МНЕ, ПУЭБЛО

Генестратова слышала, что москвичи относили его к цековским домам, по аналогии со свечками желтого кирпича, воткнутыми среди переулков Арбата и прочей Поварской там и тут. Но все ж этот дом был воткнут позже ЦК и при общем сходстве (и зеленеющем желтом кирпиче) считался комфортабельней — элитное жилье, так, как его понимали в начале 90-х. Еще не охамев и не войдя во вкус. Историю своего дома Генестратова узнавала по чуть-чуть, смаковала по ложечке. Когда при смерти лежал великий артист и по периметру дома телекамеры охотились за бригадами скорой, Генестратова, например, узнала, что он вообще тут живет (вернее, жил).

Еще не охамев и не войдя во вкус, те, кто заселил этот дом двадцать лет назад, угрюмее цековских окружили себя заборами, замками и массивными камерами слежения (теперь, давно неисправные, они все равно торчали тут и там, как артефакт вроде первобытных сотовых), и настоящим хранителем тайн выглядел Василий Иванович, консьерж со стажем, военный пенсионер. Они дружили. Изредка Генестратова забегала в скворечник на чай, старику были приятны внимание, кекс и подаренные книги, но он при этом умудрялся ничего толком не рассказать. Видимо, пенсионер КГБ.

Поэтому, обнаружив у оград новый кипеж (особенно вызывающе выглядел микроавтобус с мощной спутниковой тарелкой, как в западных сериалах про место преступления), Генестратова заспешила в подъездную будочку. Ей льстило, что здесь — на почетном месте — блистало золотишком букв «Сладкое прощание Веры», хотя, как ни странно, ни Василий Иванович, ни его сменщик, которого Генестратова почти не знала, так и не высказались о прочитанном.

Как ни странно, старик был разговорчив, хотя и выражался путаней обычного, возможно, снова микроинсульт. Он часто и гордо жаловался на них.

— Это за Тамарой нашей бегают, — рассказал он со странным удовлетворением, после чего несколько раз провозгласил что-то невнятное, вплоть до «звездная вдова».

Генестратова не понимала! Тамара — ее соседка сверху, пожилая, скучная, одинокая. Чисто в силу своей коммуникабельности и открытости миру Генестратова побывала у нее раза два, но всегда недоумевала, как эта типичная училка оказалась в элитном доме.

Особенно смутило ее то, что речь (почему-то?) идет о Карабаши. Сначала Генестратова даже поду-

мала, что дед пересмотрел телевизор. Все эти два-три дня Интернет был полон публикаций о престарелом среднеазиатском диктаторе: Генестратова не вникала, но даже она не могла не заметить. Карабаши то ли умер, то ли нет. Вернее, всем понятно, что умер, это устало скрывать даже официозное российское ТВ («большой друг» Карастана), и только его подданные никак не могли унять ужас. У них там введены войска, все дипломаты выдворены из страны и прочее-прочее, но они упорно все опровергали («работает с документами», ага), и это всем видно и всем смешно. Буквально сегодня по чатикам разошелся мем с ТАССом, который опубликовал новость о том, что умер, а через 20 минут по этой же ссылке — сообщение, что «новость “Умер” появилась в результате технической ошибки», и это всем на потеху — и блогерам, постящим, и уже самому ТАССу, которому надоело играть в эту чужую туземную игру — даже ему.

Все еще не понимая, в чем тут дело, но смутно следуя логике консьержа, Генестратова стала гуглить — «Карабаши бывшая жена Москва», и в разных комбинациях ей открылось. Содержательней всех была публикация «Экспресс-газеты» чуть не десятилетней давности, где на снимках ее дом и ее соседка, убегающая в подъезд (со спины), между прочим, все в том же кошмарном пальто цвета борща.

Генестратова читала и читала. Не в силах унять волнение, она вскакивала, шла в кухню, где делала кофе, как она любит — не просто доведя до первых пузырьков, но и поколдовав тридцать секунд еще в сантиметре над огнем. Чашка кофе согревала ей руки, а свежая плодотворная сплетня — душу. Дом будто сдавался под ее натиском по метру, по этажу, как осажденная крепость, бессильная пред сильной и умной женщиной. Стоя у окна с чашкой ароматного кофе в руке, эта женщина победно озирала поверженную мокрую Москву.

Все это так интересно. Оказывается, рядом была такая драма, а она-то, дура, расспрашивала «училку» о каком-то крутышке с десятого этажа, личностью которого тогда интересовалась, — слишком много охранников сопровождали его, превращая каждый выход из подъезда в бенефис провинциального кордебалета.

«А неплохо сказано!» — Генестратова себе пометила.

История была такая, что в молодости будущий Карабаши, а тогда скромный партийный карьерист, женился на русской, и вот жили они поживали, и вот он уже первый секретарь, и где-то на волне национально-освободительного движения, когда он становится первым президентом нового независимого государства, жена оказывается крайне неудобна. Детей у них не было. Брак расстроился. Но, может, дело было в ее национальности, что не только противоречило новому статусу и политике, но и как-то привязывало его образ небожителя то ли к советской, то ли к светской традиции. Она привязывала, как пуповина. Жена как пуповина. Генестратова пометила тоже. Он быстренько оформляет развод и навсегда усылает ее в Москву как в монастырь. А сам заводит гарем, пишет священные книги, провозглашается сверхсуществом. Ну а чё мелочиться. Ну да, ну да (усмехалась Генестратова): училка-пальто-борщи — и золотые памятники размером с дом — это рядом — никак.

У Генестратовой столько вопросов! Что она чувствовала, когда ее просто взяли и выбросили на помойку? (На свалку истории.) Он всегда такой был? — миллион золотых перстней, дворцы и т. д. — или, если нет, то как можно было это скрывать в атмосфере стандартных советских квартир, ну пусть госдач, и скрывал ли он. И как можно скрывать от близкого человека такую ментальную пропасть, что вот у его в руках газета «Правда», а в голове уже — пирамиды со сфинксами, и подозревала ли она. Если скрывал, то что это за муж (и каково это — знать, что тридцать лет прошли рядом с золотой статуей, мумией, вообще каким-то «Чужим», пришельцем из другого мира), а если не скрывал, то как это вообще укладывалось у нее в голове — то, кем он себя видит, что он хочет? Нормально, да, в 80-х годах XX века жить с Тутанхамоном, которого оживили ученые?

Генестратова звонила настойчиво, как там в песне пелось — «дверной терзает звонок». Это будет слишком жестко, конечно, но — что она думает о средневековых казнях? (Генестратова подковалась в интернетах.) Там кого-то из приближенных затравили собаками на главной площади, а ее муж сидел и смотрел на троне? Это как, нормально? Она что-то подозревала, или она содрогается, когда слышит в новостях (хотя новости и стараются быть сдержанными по отношению к соседу), или она до сих пор боится? Боится этих молчаливых монголоидных ребят в дорогих костюмах?

О ребятах она узнала, когда поспешила обратно в скворечник, не додолбившись в дверь. (Прихватила «Разорванное сердце Адель». Новые задачи, которые стояли перед ее общением с Василием Иванычем, требовали новых подношений и вливаний.) Оказалось, Тамару увезли еще позавчера поздним вечером люди из посольства — то ли на похороны, то ли «перепрятали», пока ажиотаж. Консьерж признался, что эти ребята из посольства, «одинаковые все», черные (он так и сказал) люди на черной машине, приезжали периодически, что-то привозили в больших сумках, кажется, продукты из Средней Азии. Да! Взбудораженной Генестратовой начинало казаться, что она сталкивалась с ними в подъезде, каких-то вышколенных азиатов ви-

дела, какой-то холодок опасности в лифте был. Но вообще, по правде сказать, Генестратова ничего вокруг не замечала, кроме того, что однажды удивилась, как мастерски Тамара приготовила какую-то восточную еду — плов, что ли. Генестратова тогда отказалась, отмахнулась, но как нездешне пахло приправами!..

Как она могла все пропустить?! Не увидеть, не попробовать... Рядом была такая история, такая судьба! Белый город с резьбой по камню, революция, Карабаши, не таясь, заводит наложниц в минарете, оскорбленная жена хочет вернуться в СССР и придумывает план побега — пленница султана...

Короче, у Генестратовой созрел коварный план (но, как всегда, немного бессмысленный). Назавтра, когда дежурил другой консьерж, она с утра пораньше сделала морду кирпичом, заявилась и заявила, что ее заливают сверху. (Перед тем, действительно, что-то помудрила с водой и велосипедным насосом.) В скворечнике, в глухом молчании, они дождались косого слесаря из службы эксплуатации и поднялись, взяв резервный ключ. И вот она в той самой квартире. Озирается. Подергивает ноздрями, хотя пряностями уже и не пахнет.

Генестратова знала, что у нее очень мало времени — пока слесарь возится и мычит, что вроде все сухо. Отмахиваясь от него и озираясь, Генестратова делала вид, что у нее о-очень важный разговор с издателем, а на самом деле пыталась криво-косо, но хоть как-то, пофоткать интерьер в позиции «от уха». (Как делала она, встречая нужных типажей в метро.) Что за вазочки с сухими злаками на пианино? Карастан — опорный край озимых, не так ли?.. Что за фото на стене? Переснять! Провела пальцами по книжным корешкам на полке (кстати, пыль): приятно увидеть «Короли, покройте даму треф!», конечно, но здесь она ищет не свое, а что-нибудь не на русском... Неужели Тамара не прихватила ничего из прошлой жизни? Как она бежала?.. Консьерж палит ее — следит, стоит в дверях, не уходит. Что-то подозревает? Потом-то она поняла, что в сумках могли носить не еду, а доллары (нефтедоллары!) — за молчание, и повеселилась, представив, как распахивает шкаф, а на нее спускается шлейф купюр, и она оборачивается и смеется, не обнаженная в этом потоке, но все ж, на глазах у оргазмирующего или инфарктирующего консьержа.

И это тоже следовало записать.

На самом деле максимум, что она нашла — какую-то дурную, чуть не проволочную диадему (хотя это могло быть и древнее золото), и, не удержавшись, примерила, водрузила пред туманной зеркальностью пианино. Вот. А Тамара могла бы быть хозяйкой дворца и страны.

Консьерж выразительно покашлял, а слесарь сердито сказал, что протечек нет, и...

— Значит, натекло по шву! — обрубила Генестратова.

Следующий план был еще более провокативен, но не без экстравагантности. Главное: Генестратова долго и тщательно выбирала наряд. У нее вдруг нашлось дивное платье, черный гипюр, о котором она и забыла: была однажды на презентации в «Библио-Глобусе», но и там это смотрелось слишком. Вуаль!!! Уж сколько раз она порывалась выбросить эту шляпку-таблетку с черной вуалью, подернутой мушками-стразами, или хотя бы отдать в театр. Но вот этот день — великой актрисы — настал.

Да, уже было официально объявлено о смерти, и где-то в центре белого города строили черный мавзолей, — а в московском посольстве Карастана была организована книга скорби. Генестратова вызвала не Uber. Нет. Она вызвала Uber Black. И теперь, подняв вуаль, пила у окна кофе — возгоняла волнение — ждала. Тут дойти, конечно, двадцать минут, но лужи и грязь — не для данного образа. Она видела себя в туманной, потусторонней поверхности шифоньерной двери. «Чудесная бабочка-траурница, черно-лиловая, с вафельно-белой каймой на широких крыльях — изящная, печальная, навевающая мысль о скорой осени. Ночью в небе августа много звезд, падающих метеоров, туманных серебряных сгустков. Заслоняя их, бесшумно летит огромная бабочка-траурница, не ведая сна, накрывая крыльями Россию».

...Если б не спущенные флаги, о всенародном горе тут, в околоарбатском переулке, не напоминало бы ничего. То есть Генестратова, эффектно шагнув из «бэхи», не увидела ни череды скорбящих, ни вереницы несущих хотя бы официальные венки. Возможно, величие Карабаши (за одинокие ночи гугл-серфинга он стал почти родным) было преувеличено даже для московских гастарбайтеров, подданных его империи, да, впрочем, и на родине культ якобы начал уже если не сыпаться, то шебуршать песочком: с утра BBC радостно смаковало, что отключили не то подсветку статуи, не то какой-то фонтан. У него там что, из пасти бьет вода?.. Величественно, как королева, Генестратова прошествовала вдоль фасада с тонированными окнами (все это выглядело еще секретней, глуше и тревожней, чем какое-нибудь посольство КНДР), позвонила в звоночек, предъявила паспорт. У королевы, наверное, нет паспорта.

Сюрреалистичнее всего — и сокрушительней для культа — было то, что и внутри она оказалась одна (не считая вышколенный персонал). Иногда она останавливалась, чтобы заснять тот или иной приступ восточного богатства — люстру, картину, исполинскую вазу, — соцреализм густо венчался с исламом. Неловкая пауза, неловкая поза — это в центре зала Генестратова делает скорбное, при опущенной вуали,

селфи на фоне шестиметрового Карабаши — ее нового героя.

Обслуга из углов смотрела на это; смотрела на то, как Генестратова заполняет страницу в книге соболезнований — долго, потому что витиеватый текст, как ей самой казалось, был полон намеков, а подпись заняла две трети страницы. Но вот точка поставлена, и начинается главное. Бенефис Маты Хари. Громко, так, что прокатилось под сводами, она подозвала человека и заявила, что хотела бы видеть посла, речь о деле государственной важности.

Возможно, человек удивился, но азиаты ж — не поймешь; посол оказался «вызван для консультаций» (дело понятное — путч); с загадочной гостьей сторговались на атташе по культуре, но и его пришлось ждать минут десять. За это время ее никто ни о чем не спросил, но чувствовалось, как все тут напряглись.

— Господин атташе! — начала она светски, протягивая руку (скорее в положении для поцелуя, но там уж как пойдет). — Здравствуйте! Разрешите представиться! Эвелина Генестратова! Писательница, автор двенадцати книг, соавтор двадцати одного сборника и альманаха, неоднократный победитель и финалист всероссийского конкурса духовной прозы имени Святой Татьяны. Лауреат, финалист, дипломант семи всероссийских, двух межнациональных, десяти мировых конкурсов и фестивалей, в том числе «С веком наравне», «Ступени II», «Вызов — XXI век», «Я молодой», «Любовию и единением спасемся». Гран-при XIV Международного фестиваля «Родники вдохновения». Гранд-дама всероссийской медали «Вдохновение», лауреат премии газеты «Литературная скрижаль», «Золотое перо» Куйбышевского государственного института культуры.

Атташе, учтиво склонив голову, ждал, и даже когда она вручила ему «Трепещу, но снова нет» (накануне весело подумав, что только за одни обнаженные извивания на обложке тут могут отрубить голову), ничего в нем, кажется, не дрогнуло.

— От лица своих коллег, от лица Союза писателей России, в котором я состою с 1992 года, разрешите выразить соболезнования в связи с постигшей вас утратой, — журчала Генестратова. — У меня есть к вам вопрос.

Медленно, как пистолет, она достала из сумочки фотографию, все-таки стыренную накануне с пианино (Тамара на ней была молода, но вполне узнаваема) — и выставила, как козырь.

— Я ищу свою подругу, я ничего не знаю о ее судьбе... Я вижу, что и вы ее узнали...

Опять пошел дождь — будто само небо оплакивало Карабаши (единственное в этом городе).

К тому моменту, когда у посольства тормознула «бэха» с номерами серии АМР, дождь лил два часа. Молодой человек в приталенном пиджаке — с приличествующей случаю охапкой траурно-бордовых роз — перебежал в здание без зонта и сразу вышел с Генестратовой, которая то и дело оступалась на шпильках, и все, тем более сбитая влево вуаль, выдавало смятение. Потому что последним аккордом этого сюрреализма среди зеленых ковров — то ли допроса, то ли чего, — стала простодушная реплика азиатки в мужском костюме, такой гестаповки, которая ее сторожила: «Там ваш сын за вами приехал».

Пара села в «бэху», на то, чтобы доехать переулками, потребовалось минуты четыре — в молчании. Когда верхушка желто-кирпичного дома была уже видна над старыми особняками, водителю предложили выйти, проветриться, выпить кофе.

— Ты что, сошла с ума?!

— Я собирала материал для книги.

— Да они тебя могли убить!!! Они сейчас там все на взводе, держат палец на ядерной кнопке...

— А у них есть?

— Да все у них есть.

Они говорили еще несколько минут. Потом целовались (она — виновато). Потом Генестратова вышла. Ей предстояло идти несколькими асфальтовыми тропками под дождем, но спутник не мог ее проводить. Он сам иногда шутил про «этих ваших бдительных старикашек из органов», главным образом про Василия Иваныча, на что Генестратова отвечала в духе «ну, ты сам меня сюда поселил».

Водитель провожал ее взглядом, исподлобья, чтобы это не было заметно; он всегда пил кофе возле этого киоска. Они всегда стояли здесь.

Вряд ли хоть кому-нибудь в этом мире она смогла бы объяснить, какая это ерунда — разбалтывать истории других, и как это сложно — каждый день, подступая к клавиатуре и отступаясь, не разболтать ту, заветную, о которой никто не должен знать, но хочется кричать всему миру.